

Дым

Роман

I

10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation»¹ толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, — все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

А впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попури из «Травиаты», то вальс Штрауса, то «Скажите ей», российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущ-

¹ Сборное место для посетителей курорта (фр.).

ности хищным выражением, которое придает каждому, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих «крупиз», в самое мгновение возгласа «Rien ne va plus!»¹ рассыпал вспотевшею рукою по всем четверугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Кокó, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: «Madame, le prince de la propriété est profondément ébranlé en Russie»². К русскому дереву — à l'Arble russe — обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского эсклиператора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, à ces princes rus-

¹ Возглас в игре, запрещающий делать дальнейшие ставки (*фр.*).

² Сударыня, принцип собственности глубоко потрясен в России (*фр.*).

ses¹, всякую пресную дребедень из старых альманахов «Шаривари» и «Тентамарра», а они, ces princes gusses, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника, и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся «fine fleur»² нашего общества, «вся знать и моды образцы». Тут был граф X., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Y., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал O. O., который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать; и P. P., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень... Тот же P. P. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи «Героя нашего времени» и графини Воротынской. Он сохранил и походку враскачку на каблуках, и «le culte de la pose»³ (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматри-

¹ Этим русским князьям (*фр.*).

² Верхушка, сливки (*фр.*).

³ Кульг позы (*фр.*).

вать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что Золотая булла издана папой и что английский «*poor tax*»¹ есть налог *на* бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, — и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками «Царицей ос» и «Медузою в чепце», предпочитала, в отсутствие говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским «спиритам», бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобною, но уже осторожную физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня *Babette*, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня *Annette*, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня *Rachette*, с которою случилось такое несчастье: муж ее попал на видное место и вдруг, *Dieu sait pourquoi*², прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна *Zizi*, и слезливая княжна *Zozó* — все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились

¹ Налог в пользу бедных (*фр.*).

² Бог знает почему (*фр.*).

с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им Господь облегчения от грызущей их скуки!

II

В нескольких шагах от «русского» дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым.

Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх! взял бы да выпорол!» — думал он иногда про себя, а вслух произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос». Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила «вы» и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угожьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным барином, процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда,

проникнутых не столько западной теорией о вреде «абсентеизма», сколько доморощенным убеждением, что «своя рубашка к телу ближе», он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного «союзника», простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало, — и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искушение до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками, новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты — Татьяны Петровны Шестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приговорительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как люби-

мой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью — на радость и на горе, на труд и на отдых, «for better for worse»¹, как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?

А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; *esprit fort*² (она Штрауса читала — правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден... Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку?

Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определена и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.

Ш

— Ба! ба! ба! вот он где! — раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову — и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа

¹ На хорошее и на плохое (*англ.*).

² Вольнодумка (*фр.*).

пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли.

— Вот, что называется, встреча! — повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашенные усы. — Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев «тыкал» решительно всех на свете.

— Я четвертого дня сюда приехал.

— Откуда?

— Да на что тебе знать?

— Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть, не известно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

— Я слышал о нем.

— Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот, кстати, и Ворошилов. Постой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь!

И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с «фениксом», которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.

— Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, — продолжал Бамбаев, — ступай в Петербург, в —й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя сто-

ит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

— О чем это сочинение? — спросил Литвинов.

— Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бёкля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность.

— А ты сам читал это сочинение?

— Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! — Бамбаев вздохнул и сложил руки. — Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, — а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, — какие бы ни были твои убеждения, — я их тоже не знаю, — но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастью, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!

Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

— Что ты кричишь? — промолвил он, — словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

— Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? — прибавил он вполголоса.

— Есть-то есть; только я, право, не знаю...

— Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет... Ах, боже мой! — перебил самого себя Бамбаев. — Это они финал из «Эрнани»

играют. Что за прелесть!.. А som... то Carlo...¹ Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?

Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: «Что же! сделаем и это, благо время есть». Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жюкк-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевельнулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстуке и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гულден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы рановойременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного «шику».

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его заня-

¹ Великому Карлу (*ит.*).

тий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных «вопросах»... Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена — дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высочайшее наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю, передовую точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в «Азиатик джёрнал» о Ведах и Пуранах (он так и сказал: «Джёрнал», хотя, конечно, не знал по-английски) — было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность? То он вел речь о роли кельтского племени в истории, то его уносило в Древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана и тем на миг наводил на все его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, «не хуже Адама Смита и всех физиократов...» — «Физиократов! — прошептал ему вслед Бамбаев... — Аристокра-

тов?..» Между прочим Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Рилия, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал. «И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, — размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомого (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом), — и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный...» Ворошилов уgomонился наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался... Кстати ж Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

— Ну, — воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула, — теперь чашку кофе, и марш! Вон она, однако, наша Русь, — прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова... — Какова?

«Да, Русь», — подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Ни-

колаевич Губарев... Высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

— Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, — воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцей куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты, — а это, — прибавил он, обращаясь к Литвинову, — это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на «того самого». На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин ослабился, промолвил: «М-м-м... да... это хорошо... мне приятно...» — поднес руку к собственному лицу и тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как

лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

— Ну-с, почтенная Матрена Семеновна, — начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым, — что бишь вы начали нам рассказывать?

Дама (ее звали Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

— Ну, вот он и является к князю, и говорит ему: ваше сиятельство, говорит, вы в таком сани и в таком звании, говорит, что вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И разве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

— Ну, что он сделал? — промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

— Он призвал своего лакея и сказал ему: «Сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!»

— И лакей снял? — спросил Бамбаев, всплеснув руками.

— Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Все тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чохлая

грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего: они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

— Вопиющее, вопиющее дело! — воскликнул Бамбаев. — Казни нет достойной!

— М-м-м... м-м-м... Сверху донизу все гнило, — заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. — Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

— Да полно, правда ли это? — промолвил Литвинов.

— Правда ли? — подхватила Суханчикова. — Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-у-мать нельзя... — Она с такою силою произнесла это слово, что даже скорчилась. — Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете — Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

— Какой Елистратов? — спросил Губарев. — Тот, что был в Казани?

— Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто — шпион!

— Нет, позвольте, Матрена Семеновна, — вступился Бамбаев, — я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

— Да, да, именно шпион!

— Да постойте, помилуйте...

— Шпион, шпион! — кричала Суханчикова.

— Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу, — кричал, в свою очередь, Бамбаев.

— Шпион, шпион! — твердила Суханчикова.

— Нет, нет! Вот Тентелеев, это другое дело! — заревел Бамбаев уже во все горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

— Про этого барина я достоверно знаю, — продолжал он обыкновенным своим голосом, — что когда Третье отделение его вызывало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и все пищал: «Спасите, заступитесь!» А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

— Мм... Тентелеев... — проворчал Губарев, — это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

— Оба хороши, — заговорила она, — но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу, — ну, вы знаете, «Хижина дяди Тома». Тентелеев, человек ужасно чванливый, стал просить хозяйина представить его; но та, как только услышала его фамилию: «Как? — говорит, — сметь знакомиться с автором Дяди Тома? — Да хлоп его по щеке! — Вон! — говорит, — сейчас!» И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу, да, поджавши хвост, и улизнул.

— Ну, это, мне кажется, преувеличено, — заметил Бамбаев. — «Вон!» она ему, точно, сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.

— Дала пощечину, дала пощечину! — с судорожным напряжением повторила Суханчикова, — я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!

— Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.

— Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.
— Что же этот такое сделал? — спросил Бамбаев, уже заранее оробев.

— Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: «Можно у тебя пообедать?» А тот ему в ответ: «Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают... п'шол прочь!»

— Да это клевета, помилуйте! — возопил Бамбаев.

— Клевета?.. клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева...

— Князь Вахрушкин, — строго вмешался Губарев, — мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю... Ну и упоминать о нем, стало быть, нечего.

— Во-вторых, — продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева, — мне сама Прасковья Яковлевна сказала.

— Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов — это первые выдумщики.

— Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчовый покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какое сравненье! Вспомните, как она благородно с мужем разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

— Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна, — перебил ее Бамбаев. — Бросимте эти дрязги и воспаримте-ка в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы «Mademoiselle de la Quintinie»? Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!

— Я романов больше не читаю, — сухо и резко отвечала Суханчикова.

— Отчего?

— Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

— Какие машины? — спросил Литвинов.

— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болеслав Стадницким. Болеслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется... Дурак!

— Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется, — медленно, не то наставническим, не то пророческим тоном произнес Губарев.

— Да, да, — повторил Бамбаев, — взыщется, именно, взыщется. А что, Степан Николаич, — прибавил он, понизив голос, — сочинение подвигается?

— Материалы собираю, — отвечал, насупившись, Губарев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?

Литвинов удовлетворил его любопытству.

— А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?

— Каких мнений?

— Да, то есть, собственно, какие ваши политические убеждения?

Литвинов улыбнулся.

— Собственно, у меня нет никаких политических убеждений.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЫМ. Роман 5

ПОВЕСТИ

Песнь торжествующей любви 219

Клара Милич (После смерти)..... 245

SENILIA. СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

К читателю 313

⟨I⟩

Деревня 313

Разговор 315

Старуха 317

Собака 319

Соперник 319

Нищий 321

«Услышишь суд глупца...» 321

Довольный человек 322

Житейское правило 323

Конец света. Сон 324

Маша 325

Дурак 327

Восточная легенда 329

Воробей 331

Черепа 332

Порог 332

Посещение	334
Necessitas, Vis, Libertas. <i>Барельеф</i>	335
Милостыня	335
Насекомое	337
Щи	338
Лазурное царство	339
Два богача	340
Корреспондент	341
Два брата	342
Эгоист	343
Пир у Верховного Существа	344
Христос	345
Камень	346
Голуби	347
Завтра! Завтра!	348
Природа	349
«Повесить его!»	350
Что я буду думать?..	352
«Как хороши, как свежи были розы...»	353
Морское плавание	354
Н. Н.	356
Стой!	356
Монах	357
Мы еще повоюем!	358
Молитва	358
Русский язык	359

⟨II⟩

Встреча. <i>Сон</i>	359
Мне жаль...	361
Проклятие	362
Близнецы	362
Без гнезда	363
Кубок	364

Чья вина?	364
Житейское правило	365
Гад	365
Писатель и критик	365
«О моя молодость! О моя свежесть!»	366
К***	367
Я шел среди высоких гор... ..	367
Когда меня не будет... ..	368
Песочные часы	369
Я встал ночью... ..	369
Когда я один... <i>Двойник</i>	370
Путь к любви	371
Фраза	371
Простота	372
Брамин	372
Ты заплакал... ..	372
Любовь	372
Истина и правда	373
Куропатки	373
Nessun maggior dolore	374
У-а... У-а!	374
<i>Мои</i> деревья	376